

**Весомая невесомость**

Мы очень удивились, когда это произошло. Это же была такая известная личность. Спартанец Егор Михайлович. Спортсмен Егор Михайлович. Ветеран Егор Михайлович. Пенсионер Егор Михайлович. Каждое утро — пробежка по школьному стадиону, подтягивания, приседания и ещё какие-то странные упражнения, кажется, китайские: Егор Михайлович, как медведь, вяло и изящно передвигается с ноги на ногу, мягко вращая туловищем, Егор Михайлович распускает руки-крылья и становится ласточкой или журавлём, стоя на одной ноге, Егор Михайлович поднимает плечи и смотрит из стороны в сторону, как мартышка, ворующая кокосовые орехи. А после всего этого он просто застывает, сидя на коленках. Или стоя, как Сократ, раскрыв перед собой руки, держащие какой-то невидимый для нас энергетический шар. Иногда мы мягко поддразнивали его: «Егор Михайлович, научите нас! Мы тоже хотим стать мартышками, медведями и ласточками-журавлями. Мы тоже хотим обрести бессмертие». Но он только добродушно усмехался в ответ: «Зачем вам? Вы же ещё молодые. У вас — вся жизнь впереди».

Ночью двадцать второго июня соседка Тамара Алексеевна, развешивающая на балконе свою красную сорочку, увидела что-то неожиданное. Егор Михайлович стоит на подоконнике возле раскрытого окна. Потом раскрывает руки и взлетает вверх. Нужно добавить ещё две детали: Егор Михайлович жил на самом последнем этаже. И ещё: по утверждению Тамары Алексеевны он был совершенно голым.

Двадцать третьего июня Егор Михайлович не бегал по стадиону. Не тряс своим стареющим, но ещё сильным телом, вставая при этом на цыпочки и падая на пятки. Не шевелил своим животом, издавая причудливые звуки: «ааа», «хааа», «шууу», «щиии» и «сиии». Двадцать третьего июня Егора Михайлович просто и навсегда исчез с нашего двора.

Мы очень взволновались и пошли к нему домой. На наш стук в дверь никто не отвечал, тогда мы позвали участкового, и он плечом выбил дверь. Тамара Алексеевна и участковый вошли первыми. Потом уже мы. Удивительно: квартира была пустой. Совершенно пустой. Ни стола, ни кровати, ни одежды. Только записка на полу, написанная очень аккуратным почерком. Тамара Алексеевна перекрестилась. Участковый поднял бумажку и стал читать следующее: «После белого-чёрного наступает чёрное-белое, и наоборот. Эрго: инь не инет, янь не янет. Эрго: когито и сум. Но сум и когито раздвоены. Только не надо мне про любовь. Она уже никого не спасёт. Эрго: всё не так, как кажется. Весомая невесомость, невесомая весомость, беззвёздная звезда, звёздная беззвёздность, безлунная луна и бессолнечное солнце. И ещё — чёрная дыра, поглощающая свет. А значит, должна ещё существовать и белая дыра, поглощающая тьму. Прощайте, люди добрые. Квартиру завещаю своей доброй соседке Тамаре Алексеевне. Кажется, она испытывала ко мне какие-то родственные чувства. К сожалению, эти чувства были безответными. Ну что же, до скорой встречи там».

На всякий случай мы ещё раз прошли по квартире, проверили кладовку, антресоли, ванную. Нет, пусто. Даже пылинки не найдёшь. Тогда мы стали медленно и молча уходить. Мёртвая дверь ещё долго лежала навзничь, обнажая пустоту бывшей квартиры Егора Михайловича.

Двадцать четвертого июня каждый из нас, включая участкового, видел один и тот же сон. Огромный Егор Михайлович висел на небе, закрывая собой солнечный свет, и медленно вращался по кругу, как космонавт, потерявший свой корабль. На его лице была застывшая блаженная улыбка. Он по-прежнему был голым. Из всех его огромных дыр на нас лился свежий дождь. Этот дождь быстро застилал нам глаза, и тогда границы между всем существующим медленно стирались. Пока мы спали, мы понимали, что чёрное — это на самом деле белое, а белое — на самом деле чёрное, что

невесомость весома, а весомость невесома, что любовь ненавидит, а ненависть любит, что инь янет, а янь инет. Жалко только, что, проснувшись утром, мы всё это медленно забывали. Кроме Тамары Алексеевны, которая уже переехала в пустую квартиру Егора Михайловича. Каждую ночь она стоит у открытого окна и раскрывает свои руки, пытаясь взлететь. Но у неё пока ничего не получается.

Резилиенс

Большая танцевальная студия — белые, в трещинах, стены и пыль вокруг фильтра под потолком, обрывки/отрывки женских волос на полу и потное зеркало, балетные станки, висающие на стенах или стоящие отдельно, как рельсы без шпал, и стулья, старинные, тяжёлые, деревянные. Я сижу у самого входа, дверь в студию открыта, и смотрю, как хореограф Джьер («Произносится как Пьер», — сказал он мне и мягко улыбнулся) работает с моими студентками. Сейчас я их уже не помню. Кроме Сары, которая с виду была такой спокойной, но внутри которой кипели дым и гнев, и Кали, которая была такой рыжий и бледной, как индийская богиня (войны? хаоса? железа?) в эпоху которой мы живем сейчас.

Я думаю, что, когда небо уже совсем скоро станет чёрным и красным от смога, когда кончится вода, не только та, которой поливают газоны, но и та, другая, насущная, питьевая, живая, когда человек с винтовкой и штыком пойдет на другого человека, то не будет уже ни этих стен с расщелинами, ни станков со следами чьих-то пальцев, ни пыли, ни разбросанных волос, ни тем более пота, оставленного на поручнях, тогда мы — такие глупые и наивные танцоры в чёрных трико и в детских белых тапочках — первыми утонем во мраке. И вдруг настанет тишина, покой и свет, вроде бы пустой внутри, но, нет, не пустой, потому что это будет белая дыра, поглотившая тьму, по ту сторону которой — антиклассика и антимир, антитрико и антипачки, антитанцы и антитапочки, в которых мы будем лежать на небе и не помнить друг друга лихом.

А пока я сижу и наблюдаю за репетицией, за восемью студентками, из которых запомнились только две. Рядом тихо садит-

ся какое-то необычное существо, очень красивое и хрупкое, увы, я так и не запомнил её имени. Я назову её Бланшей/Бланш, потому что она была невинной, без Саринной ярости и без неискренней веры в бога Кали, уже укравшей у меня сто долларов. (Она собиралась со своим молодым мужем покрасить мой дом в белый цвет, но так и не покрасила). Жаль, что, когда всё кончится, она не умрёт первой, она выживет, как и её муж, как и Сара, и Джьер тоже выживет, его спасут адвокаты по правам меньшинств и голубые друзья-спонсоры. А пока он последовательно идёт к поставленной цели, а я сижу на деревянном стуле у входа, рядом со мной глубоко дышит Бланш и смотрит на репетицию светящимися от детской радости глазами. Она необычайно красива, но её тело скрючено, она много чувствует, но не умеет говорить, только мычит и показывает артритными пальчиками на Джьера.

Что было бы с нашим миром, думаю я, если бы все люди воспринимали искусство, даже самое заурядное, так же искренне, как и она? Я бы, например, с такой верой смог бы сделать всё, что угодно, но поздно, поздно, поздно, а Бланш так и не перестаёт смотреть на танцующие тела, как на чудо из чудес. Её мычание постепенно усиливается, девчонки, хорошо натренированные мной задолго до приезда Джьера, не обращают на неё внимания, они поглощены работой, да и музыка играет громко — молодец, Джьер, это какой-то рэп, но не до конца рэп, движения современные, но и хип-хопные. Даже в нашей заброшенной деревне дети местных расистов-фермеров с американскими флагами на избях обезумели от хип-хопа. То, что делаю я, уже никому не нужно, кроме Бланш. Я думаю, на мою репетицию она бы смотрела так же восторженно, как и на репетицию Джьера. Вот сиделка уже пытается забрать её, но Бланш уходить не хочет, она начинает кричать, пронзительно и громко, как зверёк, убиваемый фермером, и её крик совсем не вяжется с её одухотворённым лицом. Она же святая, как и все юридические, думаю я. Бланш цепляется руками за стул, но быстро и незаметно появляются другие сиделки, они уносят её ещё бьющуюся в их руках тело в коридор, где привязывают его к коляске и увозят восвояси.

Я смотрю вслед, но ничего не делаю, здесь и так уже много призраков. Вот, например, ещё вчера в этом же коридоре тоже была коляска, старичок-муж в джинсах и красной кепке толкал свою старушку-супругу с растрёпанными волосами, она вдруг надрывно закашлялась, а когда её чуть отпустило, расплакалась, как маленькая, и муж долго стоял рядом и обнимал её за плечи, и в пешеходном движении студентов, спешащих на курсы, образовалась пробка. Грубая жизнь в очередной раз нагло вторглась в балетную сказку, и балета больше нет, остался хип-хоп и Джъер, а Джъера присутствие Бланш нисколько не смутило, Джъер поставил хороший танец про резилиенс, я уже не помню, как точно перевести это слово на русский, нет, это не непобедимость, это еще что-то, что-то чуть более мягкое, но в то же время и более реальное. Сара стоит на сцене и содрогается в конвульсиях, как недавно дрожала в руках своих жестоких медицинских захватчиков Бланш. Кали улыбается, но это поддельная улыбка неверующей верующей, потому что ей на самом деле завидно, что сольный номер Джъер отдал Саре, а не ей. Но пройдут годы, и Сара, которая так часто любила говорить со мной об искусстве и жизни, ис-

чезнет, а ревнивая воришка Кали напишет мне благодарственную записку, не записку, эсэмэску: «Прости, что я не оценила тебя».

Много лет спустя я читаю её, а сам думаю: «А ты, Бланш, прости меня за то, что я тебя не спас. А ты, Сара, прости меня за то, что я ещё не отделился/отделался от тебя до конца, а ты, железная Кали, прости меня за то, что я недооценил тебя, и ты, прости, Джъер, рыхлый и добрый, как Пьер, но и целеустремленный, как Андрей, прости меня за то, что я завидовал тебе тогда, сидя на деревянном стуле у входа, и вы, потерянные мои студентки, простите меня за то, что я уже не помню вас, вот, видите, теперь везут на коляске меня, и я плачу от задыхающегося кашля, но коляску не останавливают, пробки уже не будет, ведь теперешняя жизнь — это сплошное движение, то есть танец, даже если ты сам давно стояч, как заплесневевшая вода, с трудом извергающаяся из крана».

Резилиенс — это устойчивость, вдруг вспомнил я. Дверь в студию медленно закрывается, и я выключаю свет.

Самые лучшие танцевальные студии в мире — пустые, тогда в них ещё ничего не испорчено.